



# Владимир Войнович

Деревянное яблоко  
свободы

*ФТМ*



Владимир Войнович

**Деревянное яблоко свободы**

«ФТМ»

## **Войнович В. Н.**

Деревянное яблоко свободы / В. Н. Войнович — «ФТМ»,

«Деревянное яблоко свободы» – историческая повесть Владимира Войновича о Вере Фигнер, «пламенной революционерке», покушавшейся на Александра II, красавице и первой русской эмансипе. В советское время эта повесть выходила многомиллионными тиражами под другим названием – «Степень доверия». Написанная от лица мужа Фигнер–Алексея Филиппова, – она и есть рассказ о той степени доверия, которую ищут, находят и утрачивают близкие люди. Супруги и родные, – при том, что это люди необыкновенные, героические и надмирные, какие рождаются только в эпохи великих перемен и катаклизмов. И проносятся, как метеоры, по небу цивилизации. Что движет молодой, образованной, полной жизни женщиной, когда она становится террористкой? Стоит ли Социалистическая Идея того, чтобы отказаться от радости материнства и простого женского счастья? Владимир Войнович пишет о людях давнего прошлого так, будто они живут с нами рядом. И это в наши дни происходит их выбор: между мечтой и любовью, между призванием и свободой. Издается впервые после многолетнего перерыва.

© Войнович В. Н.

© ФТМ

# Содержание

Предисловие	5
Часть первая	7
Глава 1	7
Глава 2	13
Глава 3	16
Глава 4	21
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Владимир Войнович

## Деревянное яблоко свободы

### Предисловие

Книжная серия «Пламенные революционеры» была задумана и запущена Политиздатом в 1968 году для, как я предполагаю, отвлечения некоторых свободомыслящих писателей от злободневных тем. Приглашаемым к участию авторам, среди которых оказался и я, предлагался список рекомендованных ЦК КПСС и Институтом марксизма-ленинизма революционеров всех времен и народов, включая, разумеется, русских. Русские в списке составляли, естественно, большинство. Я в то время уже писал роман о солдате Чонкине, и мне не очень хотелось влезать в далекую историю, тем более что никакой склонности к историческому жанру я в себе не ощущал. Но, понимая, что Чонкин на том этапе вряд ли меня прокормит, я согласился принять участие в серии. Из предложенных кандидатур выбрал Веру Фигнер, потому что она не была большевичкой, потому что интересовался историей организованного террора в России и потому что о добольшевистских временах можно было писать более или менее правдиво. Руководил серией замечательный человек Владимир Новохатко, который оберегал авторов от слишком бесцеремонных вмешательств в то, что называется художественной тканью.

Заклучив договор, я долго не приступал к работе и даже подумывал, не вернуть ли аванс. Но начиная с того же 1968 года все, что я написал до того, оказалось под тотальным запретом, оставалась надежда только на эту книгу, и я ее в конце концов написал. Поскольку в самом деле речь шла не о большевиках, к книге больших придирок не было, не считая того, что редактор книги просила меня убрать слово «геморрой», считая его неприличным. «Геморрой» мне отстоять удалось, но кто-то должностью выше счел, что название «Деревянное яблоко свободы» звучит двусмысленно, в нем есть то, что тогда стало называться неконтролируемым подтекстом. После некоторой безуспешной борьбы я заменил название на «Степень доверия», и книга вышла обыкновенным для Политиздата начальным тиражом 200 000 экземпляров. Но вскоре и ее запретили. После крушения советской власти я ее однажды переиздал в неизменном виде, но все собирался и наконец дозрел до того, чтобы пересмотреть весь текст, кое-что уточнить и что-то поправить с точки моего сегодняшнего видения тех событий и людей, их совершавших. Мне кажется, сегодня задуматься о том, чем был народовольческий период в российском революционном движении, довольно важно для всех, кто интересуется отечественной историей.

Террор в истории человечества применялся одними людьми против других всегда, начиная с Каина. Но народовольцы стали родоначальниками террора организованного. Эти люди, по словам Ленина, страшно далекие от народа, были первыми, кто поставили политические убийства на поток, сделали их главным смыслом своей борьбы и готовы были расплачиваться за содеянное собственными жизнями. Народовольцы были романтиками, склонными, естественно, к возвышенной романтической фразеологии. Им не хотелось называть своими словами то, чем они занимались, поэтому они политические убийства именовали красиво: борьбой по способу Вильгельма Телля и Шарлоты Корде. А вот их индийские последователи то же самое уже называли русским способом. Будучи предтечей нынешних террористов, народовольцы были тоже вполне безжалостны, но все же не столь неразборчивы в средствах и целях. Они не приводили в действие заряды в местах скопления мирных жителей, не подрывали жилые дома и пассажирские средства передвижения, не захватывали заложников, не отрезали им головы и не убивали детей.



Убийство ими Александра II вопреки их ожиданиям привело только к ужесточению режима при Александре III и усилению репрессий против революционно настроенных граждан. Но этим же убийством царской власти был нанесен такой удар, после которого она уже никогда не сумела оправиться. Нынешние историки, писатели и другие люди, думающие, что знают историю, спорят о том, что привело к гибели российское государство в семнадцатом году. Называют разные причины. Война, слабость царя, гемофилия царевича, суеверие его матери, Распутин, Ленин в plombированном вагоне, Германия, подкармливавшая большевиков. И так далее. Некоторые рассматривают эти причины в комплексе, другие разделяют их по степени главности. Но на самом деле к семнадцатому году российская государственность была обречена. Война такая или другая случилась бы все равно. А остальное – несущественные детали. Если бы царь был покрепче характером, а цесаревич ничем не болел, если бы Распутин утопить во младенчестве и пустить plombированный вагон с немецким шпионом Лениным под откос, дело бы все равно кончилось крахом. Потому что до Ленина и большевиков было столетнее революционное движение, начало которому положили декабристы. С тех пор силы, враждебные государственному строю России, атаковали эту твердыню непрерывно и в конце концов настолько ее ослабили, что ей не осталось ничего другого, как рухнуть.

В девятнадцатом веке, как известно, по Европе бродил призрак коммунизма. Но материализовался он только в России. Потому что Европа, у которой мы высокомерно отказывались и отказываемся учиться, оказалась более гибкой, понявшей, что революционное движение – результат не просто случайного помутнения умов, но рождено назревшими требованиями времени, с которыми надо считаться и искать компромиссные решения.

Царская же власть, как правильно отмечали ее критики, на компромисс если и шла (освобождение крестьян, судебная реформа, манифест 1905 года), то с опозданием и оговорками, сводившими на нет объявленные свободы. С крамолой же власть боролась руками жандармов, казенных прокуроров и судей, тупых, лживых, коварных и беспринципных, таких же, как и их советские преемники. Тем временем революционное движение росло и захватило огромные народные массы. В конце концов оно стало просто модным, а мода – это величайшая сила. Бывают времена, когда модно быть патриотом, охранителем устоев, бывают, когда модно разрушать государство или бежать из него. Уже в царствование Александра II мода на революционность дошла до того, что революционной молодежью любой царь независимо от его личных человеческих достоинств воспринимался безусловным врагом. Не зря молодой Герман Лопатин написал Александру II примерно такие (цитирую по памяти) слова: «Ваше величество! Если вы встретите молодого образованного человека с умным лицом и открытым взглядом, знайте, это ваш враг».

К семнадцатому году уже вся образованная часть населения и многие рабочие были пронизаны духом нигилизма. Никакие компромиссные решения спасти власть уже не могли. Примерно то же случилось и с советской властью в 1991 году. До сих пор у нас многие тупо твердят, что Советский Союз разрушили Горбачев или Ельцин. Утверждение крайне глупое. Жизнеспособное государство ни одному человеку, ни двум, ни десяткам и сотням разрушить невозможно. Краху советской системы способствовали отчасти ее враги (например, диссиденты), но главная заслуга тут принадлежит самым яростным защитникам системы, ее наиболее твердолобым вождям и карательным органам, которые долго старались и сделали все, чтобы эта система стала негибкой и нежизнеспособной.

На этом я свой доморощенный анализ давних и недавних событий закончу и скажу несколько слов о книге, которую вы раскрыли.

Я вовсе не думаю, что эта книга или любая другая может повлиять на ход исторических событий и чему-нибудь научить общество. Я просто старался написать ее по возможности занимательно, изобразить героиню и ее товарищей и изложить события такими, какими я себе их представляю, и вставить между строк несколько собственных соображений.

## Часть первая

### Глава 1

Был конец ноября или начало декабря (точно не помню), когда от отца моего, проживавшего в родовом имении Филипповке, получилось известие, что в скором времени в Казань прибудет Николай Александрович Фигнер со взрослой дочерью.

«Николай Александрович, – писал отец, – мой однокашник еще по Корпусу Лесничих, ныне, как и я, служит мировым посредником в Тетюшском уезде. Посему советую тебе быть к нему и его дочери внимательным и гостеприимным, как это всегда водилось в нашем роду, и не докучать своими откровениями, которые среди нынешней молодежи называются правдой в глаза, а в наши времена назывались просто хамством. Будь снисходителен к слабостям других, ибо никто из нас не совершенен». Затем следовали коротко семейные новости и просьба: «В книжном магазине Дубровина спроси книгу „Нет более геморроя!!!“ Зейберлинга. В газетах пишут, что книга сия знакомит с сущностью страдания доселе невыясненного геморроя и научит избавиться от него безо всяких последствий».

Хотя батюшка ни словом не обмолвился о цели путешествия своего однокашника, мне эта цель была вполне очевидною. «Ясно, – думал я, – едет старый хрен из провинции в губернский город, чтобы сбыть залежалый товар, будто в губернском городе живут дураки». Впрочем, дураков в нашем городе, действительно, хватало вполне. Мне в ту пору было двадцать шесть лет. Окончивши с отличием Казанский университет, я получил звание кандидата прав и служил следователем в окружном суде. Работа эта, при всех ее теневых сторонах, казалась мне крайне важной, особенно в нашем тридевятом царстве, весьма отсталом в правовом отношении, и отвечала моим стремлениям быть необходимым и полезным членом общества. Судебная реформа, тогда только что дошедшая до нашей губернии, открывала перед молодым и честолюбивым человеком весьма приятные перспективы.

Председателем у нас был Иван Пантелеевич Клемишев, старик, закоснелый в прежних привычках. Почитая себя англоманом, он любил употреблять английские слова, иногда кстати, а чаще совершенно не к месту, но английским традициям следовать не стремился. Сорокалетняя служба в старом суде наложила неизгладимый отпечаток на его представления о порядке отправления правосудия, от которых он не желал, да и не мог, пожалуй, избавиться.

– Дайте мне человека, – покуривая свою неизменную трубочку, обычно говаривал он, – и скажите, как его наказать, а уж причину и средство я найду-с, будьте уверены.

Несмотря на все изменения, происшедшие за последнее время, Иван Пантелеевич был твердо убежден, что лучше засудить десять невиновных, чем упустить одного виновного. Избавиться от подобного заблуждения он мог бы только в том случае, если сам попал бы в число десяти засуженных невиновных, но такая перспектива ему никогда не грозила.

К суду присяжных отнесся он как к неизбежному злу и умел так повернуть каждое дело, что обвиняемый получал все то, что получил бы и без присяжных. Обычно напутственные речи Клемишева содержали в себе подсказку желаемого вердикта и даже некоторую угрозу по отношению к присяжным, после чего последние не решались (или почти никогда не решались) принимать самостоятельное решение. Своим умением нажимать Клемишев гордился и говорил:

– Дайте мне хоть тыщу присяжных, я все равно настрою их так, что они поступят по-моему.

Либеральные веяния нашего времени считал он весьма зловредными, грозящими чуть ли не гибелью отечеству, в любви к которому Клемишев распинался при каждом удобном случае не только на службе, но и в домашнем кругу. Однако любовь к отечеству не мешала ему вести жизнь, которую никак нельзя было назвать праведной. Нос его от постоянного пьянства имел цвет и даже, я бы сказал, форму баклажана. Для выездов он держал баснословно дорогого рысака и устраивал званые вечера и балы, несколько не соответствовавшие его жалованью и доходам с поместья.

Стоит ли говорить, что между мной и председателем суда постоянно возникали трения, усугублявшиеся еще и тем, что я ухаживал за его дочерью Лизой, или Лизи, как ее на английский манер звали дома.

Лиза была младшей дочерью в семье Клемишевых. Три старшие давно уже были замужем, и две из них имели детей. А Лиза несколько засиделась в девицах, и к описываемому времени ей шел двадцать четвертый год. Нельзя сказать, чтобы она была очень красива, но даваемое за ней приданое (признаюсь, это имело для меня некоторое значение) вполне скрашивало картину. Впрочем, в ту пору она и так казалась мне достаточно привлекательной, умной и милой. Довольно часто я проводил у нее вечера. Потрескивал камин, журчала музыка, и ее белые руки плавно взмывали над клавишами. В такие вечера мне было хорошо и уютно и домой возвращаться никак не хотелось. Часто я думал о том, что как все-таки неправильна поговорка о яблоке, падающем недалеко от яблони. Лиза была красноречивым опровержением укрепившегося предрассудка. «Вот, – рассуждал я сам с собой в такие минуты, – ее отец – взяточник и лихоимец, имеющий на своей совести (ежели таковая у него есть) столько загубленных душ. Что общего у нее может быть с ним?» И сам себе отвечал: «Ничего, кроме родства, в котором она, разумеется, неповинна». Я уже подумывал, не сделать ли предложение, но, дорожа своей весьма относительной свободой, каждый раз удерживался от этого шага. Однако отношения наши постепенно дошли до такой точки, когда мои постоянные посещения и сидения до позднего времени как бы обязывали уже меня к чему-то, и матушка Лизы Авдотья Семеновна поглядывала на меня вопросительно и с невысказанным упреком, смысл которого я очень хорошо понимал.

Однажды вечером (примерно через неделю по получении батюшкиного письма, о котором я уже и думать забыл) сидел я в гостиной у Клемишевых. Мы были здесь с Лизой вдвоем. Она наигрывала что-то на рояле, а я расположился на атласном пуфике перед камином, вытянув ноги, смотрел на огонь и не думал, кажется, ни о чем. Как раз в этот день по делам службы пришлось мне выехать в уезд за пятнадцать верст от Казани. Прodelавши по морозу дорогу в оба конца, я устал, замерз и теперь с удовольствием наслаждался музыкой, теплом и видом огня, который всегда производил на меня какое-то гипнотическое действие, то есть я мог смотреть на него, не отрываясь, часами. Так я сидел, испытывая глубочайшее наслаждение, почти равное счастью, когда Лиза запела. Она пела романс, сочиненный каким-то знакомым на слова Байрона – «So, We'll Go No More A-Roving...». По правде говоря, я этот романс давно уже не любил, а если сказать точнее, то и вовсе ненавидел. Но когда-то он мне нравился, и я имел неосторожность сказать об этом. С тех пор меня угощали этим романсом всякий раз, когда я бывал в этом доме. Разумеется, исполнялись и другие мелкие вещи, тоже давно мне знакомые, но в конце или в середине игры делалась многозначительная пауза, бросался многозначительный и обещающий нечто необыкновенное (только для вас!) взгляд, тонкие белые пальцы медленно упали на клавиши, и божественные звуки вызвали зуд в моем позвоночном столбе. Да, мне давно уж наскучил этот романс, он раздражал меня теперь настолько, что вызывал почти физическую боль, но я не находил в себе мужества попросить Лизу больше не делать мне этого подарка, я глупо улыбался и кивал головой, как бы в знак благодарности и одобрения, что она угадала заветнейшее мое желание, а сам уже заранее изнывал от тоски. И в этот раз я опять улыбнулся и кивнул головой, а потом сжал руками виски и наклонил голову, как



бы приготовясь в который раз испытать наслаждение, а на самом деле только для того, чтобы скрыть истинные чувства, чтобы гримаса отвращения, которая, возможно, появится на моем лице, не была бы замечена. И опять, как прошлый раз, как позапрошлый раз, как уже много раз до сих пор, я пытался отвлечься, но не мог и думал: «Это еще только первый куплет, и прежде, чем перейти ко второму, она повторит две последние строчки первого, а потом еще сделает несколько переходных аккордов и обязательно переберет своими прелестными пальчиками все клавиши до единой, вздохнет, сделает паузу и уж только после этого приступит ко второму куплету».

Так все и было. Лиза посмотрела на меня, обещающе улыбнулась (вызвав во мне фальшивую улыбку одобрения и благодарности) и уронила пальцы на клавиши. Медленно сыграла вступление и затем своим переливчатым голосом запела:

So, we'll go no more a-roving  
So late into the night... <sup>1</sup>

Я схватился за голову и, изображая наслаждение, отвернулся к огню.

Чтобы отвлечься, я стал думать о деле, которым занимался последнее время и которое меня волновало.

Главным действующим лицом этого дела был некий Анощенко. Господин Анощенко ведал одним из тех многочисленных департаментов, которые, казалось, для того только и были созданы, чтобы чиновники могли туда ходить, отсиживать свои часы, переписывать никому не нужные бумаги и получать жалованье. Человек он был грубый, в своих поступках несдержанный, однако ввиду его близкого родства с губернатором, которому он приходился двоюродным братом, до поры до времени многое сходило ему с рук. Примерно около двух лет тому назад, выходя из церкви, Анощенко обратился к извозчику Правоторову, стоявшему неподалеку, чтобы тот отвез его домой. Извозчик отвечал, что не может выполнить его просьбу, потому что занят другим седоком, который велел его обождать. Анощенко был препорядочно пьян, и слова извозчика показались ему дерзкими. Он стащил последнего с козел и стал избивать кулаком в лицо, говоря при этом:

– Я столбовой дворянин, а ты, дрянь и ничто, смеешь мне перечить! Царь тебя освободил от рабства, а я тебя бил и бить буду дальше.

Отвратительно то, что вокруг толпился народ, многие были возмущены, но никто не посмел вступить за избиваемого, пока тот не догадался вскочить на козлы и удрать.

Извозчик после этого жаловался в полицию, где, зная о связях Анощенко, жалобу оставили, естественно, без последствий, обещав разобраться. Два дня после избиения извозчик еще работал, но на третий день почувствовал себя плохо, слег, впал в бредовое состояние и еще сутки спустя, не приходя в сознание, умер. Медицинская экспертиза была произведена наспех и не дала ничего. Дело, возбужденное против Анощенко, было закрыто за недоказанностью того, что смерть извозчика Правоторова наступила как результат избиения, Анощенко отделался легким испугом и, как было слышно, похвалялся перед своими подчиненными, что может делать все, что захочет, потому что его никто не посмеет тронуть. Так бы оно, конечно, и было, но с введением у нас судебной реформы кто-то из адвокатов посоветовал вдове извозчика обратиться в новый суд. Прошение о пересмотре дела попало к Ивану Пантелеевичу, который и препоручил его мне, сказав при этом, что оно гиблое, за давностью ничего доказать

---

<sup>1</sup> Не бродить нам больше по ночам вдвоем (англ.).

невозможно. Иван Пантелеевич советовал провести формальное следствие и как можно скорее отправить дело в архив.

Я, однако, ознакомившись с делом, не стал руководствоваться напутствием своего начальника, и вот почему. Размышляя над делом, я думал, что смерть, вероятно, была все же следствием избиения, ибо соседство этих двух событий иначе трудно было бы объяснить. Конечно, могло быть и случайное совпадение. Я это признаю. Сегодня человека избили, а завтра он простудился и умер. Отчего нет? Однако я лично склонен даже в случайностях искать закономерность. Отчего же умер Правоторов? Если удары Анощенко оказались смертельными, то почему потерпевший не умер сразу? Почему он еще два дня работал, и, как видно из материалов дела, в полную силу? Тут можно было предположить две вещи. Либо избиение это было сильным нервным потрясением, которое в конце концов привело к смерти, но тогда доказать что-нибудь почти невозможно. Либо во время избиения были повреждены какие-то внутренние органы, причем повреждения были такого рода, которые дают эффект не сразу, а по прошествии времени. Но что это могли быть за повреждения и что можно выяснить теперь, когда труп, конечно, давно разложился?

Между тем дело опять получило огласку. В народе поговаривали, что Анощенко вновь выйдет сухим из воды, потому что дворяне, заседающие в новом суде, те же самые, что заседали и в старом, – дескать, ворон ворону глаз не выклюет и т. д. Так что дело требовало не только юридического рассмотрения, но имело и политическую и нравственную задачу. Надо было не только наказать преступника, но и доказать публике, что новый суд – суд настоящий, что перед ним все равны, и равны не на словах, а на деле, от первого помещика до последнего мужика. Существовала, разумеется, и другая точка зрения. Мне передавали слова нашего губернатора Скарятина: «Передайте этому следователю, что использовать новые законы для шельмования уважаемых людей мы не позволим». Но я не поддавался. Конечно, стоило мне убедиться, что Анощенко не виноват, я сразу бы от этого дела отступился. Не стал бы возводить напраслину на человека только затем, чтобы доказать торжество нового суда, ибо таковое видел исключительно в достижении справедливости. Но я подозревал, и сильно подозревал, что между избиением Правоторова и его смертью есть прямая связь, и поэтому от дела не отступался, хотя совершенно в нем запутался.

– Вы о чем думаете? – Окончив романс, Лиза смотрела на меня удивленно, не видя ожидаемой благодарности.

– Я думаю об Анощенко, – сказал я.

– Ой, – поморщилась она. – Дался вам этот Анощенко. Все равно ничего не докажете, только наживете себе неприятностей. Папа говорит, что вы зря ввязались в это дело.

– Точка зрения вашего папы мне известна, – сказал я.

– Вот вы у него и учитесь. Он в суде работает побольше вашего и на этих делах собаку съел.

– Не спорю, но надо когда-то и мне съесть свою собаку.

– Между прочим, этот Анощенко очень хороший человек, мне про него говорили. А что касается извозчика, то я уверена, что он просто простудился. Пьяный валялся где-нибудь в канаве, вот и заболел.

– Известно, что Правоторов не пил, – сказал я.

– Ну уж и не пил, – не поверила она. – Да где вы видели непьющего извозчика? Все они пьяницы, как один.

– Лиза, – невольно вздохнул я, – не надо так говорить. Есть среди извозчиков пьяницы, но говорить, что все они таковы, неправильно. Говоря нашим специфическим языком, в пользу вашего утверждения нет достаточных доказательств.

– Когда я в чем-нибудь уверена, – с пафосом сказала она, – мне не нужно никаких доказательств.

Я улыбнулся.

– К счастью для нашего правосудия, – сказал я, – вы не сидите в судейском кресле.

– Если вы хотите меня обижать, – она надула губки, – вы можете это делать сколько угодно. Я же говорю только для вашей пользы, тем более что все этим делом недовольны, и губернатор тоже.

– Я это знаю, – сказал я, подбрасывая в камин дрова. – Но я поставил себе за правило поступать сколь возможно только по закону и справедливости и не ставить свои поступки в зависимость от мнения губернатора.

– Не понимаю, почему вы непременно хотите наказать этого несчастного Анощенко?

– Я вовсе не хочу его наказать. Я хочу выяснить истину, и ежели Анощенко виноват, то будет наказан, а ежели не виноват, то наказан не будет. Пока что обстоятельства говорят против него. Он избил человека, избил жестоко, человек этот после избиения заболел и умер. Не поставить в связь эти два события я, как следователь, не могу.

– Вы слишком придираетесь к формальностям, – сказала она с досадой.

– Боюсь, что, если б эти формальности касались вас, вы бы ими весьма живо заинтересовались.

– Благодарю вас, – обиделась она пуще прежнего. – Вы меня уже сравниваете с каким-то пьяным извозчиком.

Голос ее задрожал, в глазах появились слезы. Она отвернулась.

– Милая Лиза, – сказал я поспешно. – Поверьте, я никак не хотел вас обидеть, но давайте не будем обсуждать то, что вам, может быть, не очень понятно.

– Выходит, я так глупа, что это не может быть мне понятно?

– Ничего не выходит. Но в правосудии, как в медицине, каждый считает себя знатоком. Однако это целая отрасль науки, которой надо заниматься профессионально. Вы поймите, не зря же я обучался этому делу столько лет в университете и после него. Так что давайте не углубляться в специальные темы, тем более что нам есть о чем поговорить. Вы будете в субботу на балу в купеческом собрании?

– А вы?

– Это зависит от вас. Если вы там будете, то мне тоже ничего не останется, как быть там.

– А я бы сказала так: если вы там будете, то мне там нечего делать.

– Лиза, я вас прошу, не сердитесь. Ну скажите же, что вы на меня не сердитесь и что будете на балу.

– Может быть, – наконец смягчилась она.

– Если женщина говорит «может быть», это значит «да».

– Глупец вы, братец, несмотря на то что так долго учились в университете и после него, – она улыбнулась, хотя на глазах ее еще блеснули слезы.

– Ну вот, вы уже улыбаетесь, и очень хорошо, – обрадовался я. – Не сердитесь. Don't be angry with me, как сказал бы ваш батюшка.

Вскоре мы расстались. Признаюсь, я возвращался к себе в несколько подавленном настроении. То, что произошло между нами, нельзя было назвать ссорой, скорее это была просто мелкая стычка, к тому же благополучно окончившаяся, но я невольно подумал о зря потерянном вечере, об этом навязшем в зубах романсе, о Лизиной самоуверенности, о некомпетентном разговоре, от которого мне стало скучно. «Все же что-то в ней есть от батюшки».

англомана, – невольно подумалось мне. – Вот так женишься и будешь выслушивать глупые сентенции каждый день. Нет, все же торопиться не нужно, хотя я, конечно, люблю ее. Да, я люблю ее», – сказал я самому себе, но не очень уверенно.

## Глава 2

Подъехав к своему дому, я нашел двери его распахнутыми настежь, несмотря на мороз. Из дверей на синий искрящийся снег падал яркий свет и вырывались клубы пара, в которых мелькали торопливые фигуры людей, нагруженных дорожными вещами. Лошади, запряженные в простую кибитку, тяжело вздували бока, покрытые густым инеем, словно попонами.

– К вам гости, барин! – объявил мне вынырнувший из темноты мой старый слуга Семен, выражая голосом свою радость, что на меня свалилось такое счастье.

Я быстро поднялся на крыльцо и застал в передней пожилого высокого господина в медвежьей шубе. Рядом с ним стояла девица в дубленом ладном полушубке и пуховом платке, лет ей на первый взгляд было не больше пятнадцати. При моем появлении высокий господин двинулся мне навстречу и, подавая руку, представился, как мне показалось, несколько смущенно:

– Николай Александрович Фигнер, дворянин Тетюшского уезда.

– Знаю, – сказал я, – я уже батюшкой про вас извещен.

– А это моя дочь Вера, прошу, как говорится, любить и жаловать.

– Очень рад, – сказал я, прикладываясь к красной и холодной с мороза ручке, которая казалась столь маленькою и хрупкою, что в мои руки ее брать было боязно.

– Надеемся, что мы вас не очень беспокоим, – сказал ее отец, – но ежели что, прошу вас не стесняться, скажите прямо, и мы съедем без всякой обиды. Люди мы простые, можем устроиться и на постоялом дворе, да и знакомых у нас здесь, слава богу, хватает.

Разумеется, это была всего лишь дань хорошему тону, и ответь я на его просьбу утвердительно, он обиделся бы на всю жизнь, однако я по тем же правилам тут же заверил его, что ни он, ни его дочь меня нисколько не стеснят и могут вполне распоряжаться моим домом, как своим, занявши второй этаж. Старик благодарил меня в самых изысканных выражениях.

Когда мы встретились в столовой за чаем, я увидел, что Вера несколько старше, чем показалась мне с первого взгляда. Она была одета в синее скромное платье с белым отложным воротничком. У нее были темные, заплетенные в тяжелую косу волосы, правильные черты лица, тонкий нос и глаза живые, смотрящие на все, что им открывалось, с неподдельным интересом. Ее поведение обличало в ней провинциальную девушку, не привыкшую к мужскому обществу и потому чрезмерно застенчивую, хотя мне показалось, что эта застенчивость ненадолго, до нескольких выходов в свет.

– Вы первый раз в Казани? – спросил я не потому, что мне это было в самом деле интересно, а просто чтобы начать разговор.

– Нет, я здесь жила шесть лет, – сказала она, зардевшись от смущения.

– Странно, что мы с вами нигде не встретились раньше, – сказал я.

– Казань все-таки большой город, – сказала она.

– Дело не в том, что Казань большой город, – сказал отец, – а в том, что ты училась в закрытом заведении. В Родионовском институте, – повернулся он ко мне.

В Родионовском институте один мой знакомый преподавал когда-то географию, но потом был изгнан за какие-то амурные дела. Я вспомнил о нем. Постепенно мы разговорились, и Вера сказала мне, что полученным образованием она совершенно недовольна, хотя при выходе и получила отличие. Единственное, что она хорошо усвоила, – это латынь и закон Божий, а преподавание других предметов оставляло желать лучшего. Например, литература давалась

лишь до сороковых годов, из современных писателей говорили об одном Тургеневе, да и того читали только «Муму».

– Ну в конце концов, – сказал я, – литература такой предмет, который не обязательно постигать в школе. И кроме того, в школе сколько бы ни давали литературы, все равно этого будет мало.

– А девице все эти премудрости знать вовсе и не обязательно, – вмешался отец. – Надо только научиться немного французскому, немного брэнчать на рояле да детей воспитывать.

Вера смутилась, покраснела и с упреком посмотрела на родителя.

– Почему уж так, – поспешил я ей на выручку, – такое представление о женщине не совсем современно. Почему бы женщине не заняться каким-нибудь доступным ей делом, например медициной?

– Ну и что хорошего?

– Нет и ничего дурного, – сказал я. – Среди женщин и сейчас немало есть акушеров и повитух, отчего же им и не быть врачами?

– Такого никогда не бывало.

– Раньше не бывало и паровых машин, а вот же ходят теперь поезда, и никого это не удивляет. Прошу прощения, но я вашу точку зрения разделить не могу. Считаю бессмысленным стоять поперек пути нового, ибо оно все равно пробьется, и лет эдак через пятьдесят ученая женщина никому не будет в диковинку, уверяю вас.

– Не дай бог.

– Напрасно вы так говорите, Николай Александрович. Вот ведь недавно еще крестьяне были крепостные, и казалось, что так и должно быть, потому что так велось испокон веку. Однако вот их теперь освободили, и многие считают это правильным.

– Это вы не равняйте одно к другому. – Старик воодушевился, и глаза его заблестели. – Крестьян освободить давно надо было. Я вам больше скажу: ежели бы их не освободили и они бы восстали, я встал бы во главе их.

– Если бы они вас взяли, – поправил я.

– А почему бы им было меня не взять?

– Да хотя бы потому, что если и возникает какое движение, то оно сразу выдвигает и своих руководителей, которых никто со стороны не ищет.

Старик замолчал, нахмурил брови. Может быть, он согласен был с моими словами, и все же чувствовал некоторую обиду, что я не доверяю его гарибальдийским возможностям. Помолчав так некоторое время, он поднялся из-за стола, сказав, что пора на покой.

– Отдохнуть надо с дороги, да и вообще, знаете ли, мы люди деревенские, ложиться привыкли рано.

В этих его словах тоже почувствовал я уклончиво высказанную обиду. Он как бы говорил, что по понятиям «деревенских людей» яйца курицу не учат. Я не стал укреплять в нем чувство обиды и, проводив обоих на второй этаж, зашел к Семену распорядиться, чтобы тот принес теплые одеяла.

Семен, крепкий еще семидесятилетний старик, жил в угловой комнатенке.

Я застал его стоящим на коленях под иконой, освещенной тусклой лампадкой.

Научась самостоятельно грамоте, он употреблял ее на то, что составлял ежедневно длинный перечень просьб, с которыми, поминутно заглядывая в сей документ, обращался вечерами



к всевышнему. Списки эти он хранил у себя в деревянной простой шкатулке, перечитывал их на досуге и против сбывшихся пожеланий ставил крест и писал в скобках: «Сполнено».

– Осподи, вразуми раба своего Федора Рябого, чтобы отдал целковый, даденный мной на Масленую, – бормотал он, – подскажи барину, чтобы раздетый на улицу не выбегал, неровен час застудится. Племянница моя Дунька, которая в деревне живет, понесла от Гришки Кленова, скажи ему, чтоб женился, а коли не женится, сделай ему какую нито неприятность либо болесь, дабы впредь неповадно было девок портить, а Дуньку тоже накажи как хошь, только поймей в виду, что она ишо молодая и глупая, опосля и сама опомнится, да будет поздно, а ишо поясница у меня болит со вчерашнего, так сделай милость, пуцай пройдет, хворать-то некогда, делов много. А купец Балясинов собаку держит непривязанную, Лешку, мальчонку нашего, она уже покусала, глядишь, еще кого ухватит.

Увидев меня, старик смутился и скомкал бумажку.

– Семен, – сказал я ему улыбаясь, – что ж ты у господ ерунду всякую просишь? Попросил бы сразу чего-нибудь побольше.

– Да ведь, барин, на большее он, пожалуй, осердится, – сказал Семен, не подымаясь с колен, – а из ерунды, может, чего и подаст.

– Ерунды-то уж слишком много просишь.

– Я все прошу, а ежели он хоть что-нибудь даст, и за то спасибо.

– Ну ладно, – сказал я. – Если еще недолго будешь молиться – молись, а если долго, то сейчас сходи сам или пошли кого-нибудь, пусть принесут гостям теплые одеяла, а то ведь окна заклеены плохо, дует, еще застудим с тобой гостей.

## Глава 3

Перелистывая в который раз дело Анощенко, я случайно обратил внимание на упоминание о каком-то перстне, найденном на месте происшествия. Это упоминание содержалось в протоколе, составленном участковым приставом, еще когда был жив Правоторов. Записано в виде вопроса и ответа.

«Вопрос: На месте происшествия найден вот этот перстень. Он принадлежит вам?

Ответ: Нет, этот перстень я первый раз вижу».

И все. Но почему-то меня вдруг заинтересовало: что за перстень? Почему был задан такой вопрос? Я всегда помнил, что в нашем деле нельзя пренебрегать мелочами. Мелочи иногда говорят больше, чем от них ожидаешь. Я заглянул в последний лист дела, где обычно содержится опись вещественных доказательств, но никакой описи не обнаружил. Это было нормально. Какие могут быть вещественные доказательства, если произошла обыкновенная кулачная потасовка, правда, приведшая к необычным последствиям? Не могу сказать, чтобы я сразу придал большое значение своему открытию, но на всякий случай отыскал пристава, составлявшего протокол. Я говорю «отыскал», потому что пристав этот, изгнанный из полиции за пьянство, теперь служил надзирателем в тюремном замке. Бывший пристав не сразу вспомнил, что действительно в его протоколе упоминался перстень, но упоминался только потому, что его нашли на месте драки и не знали, кому отдать.

– Перстенок-то был дурной, черный, потому-то его и не уперли, – говорил пристав, глядя на меня преданными полицейскими глазами. – Вот я и спросил господина Анощенко, не его ли. А то ведь как что, так сразу говорят, что в полиции, дескать, самые воры и сидят. Ну а раз господин Анощенко перстенок не признал, то мне и спрашивать больше нечего.

– И куда вы его дели? – спросил я.

– Сейчас и не упомяну, – смутился пристав. – Да вы не сомневайтесь, себе я его не взял. Кабы он золотой был или хотя б серебряный, а то ведь перстенишко так себе – одна дрянь.

– Все же мне бы хотелось, чтоб вы припомнили, – настаивал я.

Чем труднее казалось добыть этот перстень, тем почему-то важнее мне мнилась тайна, скрытая за ним, и тем большее упорство проявлял я в отыскании этой безделицы.

В конце концов пристав припомнил, что, кажется, в левом ящике его бывшего стола лежал этот перстень. Поехал я опять на бывший участок этого бывшего пристава, попросил нового пристава открыть стол, но искомого опять-таки не нашел ни в левом ящике, ни в правом. Но тут появилась еще одна ниточка: новый пристав сказал, что стол недавно ремонтировали и уж не столяр ли украл. Он обещал мне вызвать этого столяра и узнать.

Розыски перстенка на первый взгляд, может, и были совершеннейшей ерундой, но на эту ерунду я потратил тогда дня три или четыре. Занятый этими поисками, я иногда вовсе забывал про своих гостей, с которыми у меня, впрочем, сложились вполне дружеские отношения. Правда, старика Фигнера мне приходилось видеть довольно редко. Целый день он пропадал по своим делам, то закупаая какие-то жернова, то навещая детей (как-никак две дочери учились в институте, а два сына в гимназии), то наносил визиты друзьям и знакомым. Вера часто оставалась дома, и мне случалось говорить с ней о том о сем. Сперва разговоры наши проходили в несколько натянутой атмосфере, какая возникает между не очень знакомыми мужчиной и молодой девушкой, однако ж мы вскоре сблизились, и отношения наши стали вполне свободными и дружескими, с тем, правда, оттенком шутиливой снисходительности с моей стороны, который был следствием разницы в возрасте.

Вот я сижу в своем кабинете, в который раз перечитывая дело Анощенко. Входит Вера.

- Алексей Викторович, я вам не помешаю?
- Помешаете, – говорю я грубо, но шутливо, в том именно тоне, который между нами установился в последнее время.
- А что делать, если мне скучно?
- Займитесь чем-нибудь.
- Мне надоело заниматься.
- А что делает ваш батюшка?
- Сказал, что поехал куда-то с деловым визитом, но я думаю, что на самом деле он играет где-то в картишки. Он большой любитель этого дела.
- Уж лучше играть в карты, – говорю я, – чем слоняться по дому без дела или вертеться перед зеркалом.
- Не думаю. Вы знаете, я всю жизнь чем-нибудь занималась. То меня учили французскому языку, то танцам, то музыке. Потом шесть лет в институте, в четырех стенах. С ума сойти! Столько времени потрачено зря!

Я молчу, читаю. Все-таки хотелось бы понять, что за перстень был обнаружен на месте избиения, кому он принадлежал и какое он имеет ко всему этому отношение.

- Алексей Викторович, как вы думаете, я могу кому-нибудь понравиться?
- Сомневаюсь.
- А почему? Разве я некрасивая?
- А вы сами как думаете?

Она смотрит в зеркало.

- Мне кажется, что я миловидная.
- Не знаю, с чего вы это взяли.
- А что? У меня правильные черты лица, большие глаза, темные волосы, благодаря которым домашние зовут меня Джек-Блэк. Пожалуй, мне кто-нибудь может даже предложение сделать.
- Не думаю. Разве что по расчету.
- По расчету я не хочу. Я скажу папе, чтобы он не давал за мной никакого приданого, тогда если кто-нибудь, пускай самый некрасивый и жалкий человек, сделает мне предложение, я буду знать, что он меня любит.

Я продолжаю читать. Молчу, и она молчит. Смотрит в зеркало. То подойдет вплотную, то отойдет. Нахмурится, улыбнется. Я не выдерживаю:

- Вера, вы серьезный человек?
- Очень.
- Почему же вы проводите время впустую? Неужели вам нечем заняться?
- Абсолютно нечем. – Она вздыхает.
- Почитали бы книгу.
- Ах, зачем мне нужны ваши книги. Я их уже все прочла.
- Да вы читали небось все какую-нибудь ерунду, беллетристику. Да?
- Да.
- Кто ваш любимый писатель?
- Тургенев.

– «Муму»?

– Зачем же? «Первая любовь» гораздо интереснее.

– И Пушкина любите?

– Пушкина люблю. А что, нельзя?

– Нет, отчего же? Но все это литература развлекательная, она действует на чувства, но не дает достаточно пищи уму. (Признаюсь, в то время я именно так и думал.) А вам надо читать Герцена, Писарева, Чернышевского, наконец, если достанете.

– Правильно, – покорно соглашается она, но в глазах прыгают чертики. – Теперь для того, чтобы выйти замуж, мало говорить по-французски и играть на фортепьяно, теперь еще надо читать Чернышевского и спать на гвоздях. Хорошо, Алексей Викторович, я попробую.

– Милая мисс Джек-Блэк, скажите честно, вас в детстве пороли?

– Еще как. Отец однажды плетью чуть до смерти не забил.

– Видно, это вам впрок не пошло. Вы видите, что я занят?

– Вижу.

– Вы можете меня оставить в покое?

– Могу.

Она уходит, но тут же возвращается:

– Алексей Викторович!

– Что вам еще? – Я нарочито груб.

– Вы возьмете меня на бал?

– Вас? – говорю я в притворном ужасе. – Еще чего не хватало!

– А что, вам стыдно со мной появиться на людях?

– Очень стыдно.

Она вздыхает.

– Я вас понимаю. У меня очень легкомысленный вид. Алексей Викторович, а если я постараюсь вести себя хорошо?

– У вас это не получится. Кроме того, на балу будет моя невеста.

– Ваша невеста? Как интересно! А кто она? Она красивая?

– Очень.

– Даже красивей меня?

– Никакого сравнения.

– Ну ладно. Езжайте себе на бал со своей невестой, а я останусь дома, как Золушка. Возьму у вашей Дуняши старое платье, стоптанные башмаки и буду чистить самовар или мыть посуду.

– Очень хорошо, вам на кухне самое место. А теперь идите, вы мне мешаете.

– Ухожу, ухожу, – говорит она, но в дверях останавливается. – Алексей Викторович!

– Ну что еще?

– А ваша невеста очень ревнива?

– Безумно.

– Значит, вы меня не хотите брать, потому что боитесь, что ваша невеста будет вас ревновать?

– Вот еще, – возражаю я. – Моя невеста из хорошей семьи и очень воспитанна. Я вас возьму на бал, но при одном условии.

– При каком?

– Вы мне дадите слово, что будете вести себя прилично. Обещаете?

– Алексей Викторович, я буду вести себя так прилично, что вам даже скучно станет.

В субботу, освободившись от службы ранее обычного, я вернулся домой, где и застал, к удивлению моему, своих постояльцев. Мы встретились за обедом, и я спросил Николая Александровича, не обижает ли его мое частое отсутствие.

– Бог с вами, – сказал старик, – мы и так благодарны вам за приют, а об остальном вам беспокоиться нечего. Все дни проводим в разъездах по родственникам и знакомым.

За столом зашел разговор о происшедшем в Москве убийстве, слухи о котором докатились до нашего города. Сторожем московской Петровской земледельческой академии был выловлен в пруду труп студента Иванова, сперва раненного из револьвера, а затем задушенного и утопленного при помощи кирпича, привязанного к шее. Слухи расплзались самые разнообразные. Говорили, что убит он из ревности неким жандармским полковником, уличившим его в связи со своей женой; промелькнула, но, правда, быстро заглохла версия о ритуальном убийстве, совершенном евреями. Самый же распространенный был слух, что студента убили его же товарищи. Что была будто бы создана обширнейшая революционная организация, распространившаяся по всей России, и ответвления этой организации есть и в нашем городе.

Фамилию Нечаева и кое-какие подробности мы узнали потом, спустя года полтора или два, но тогда печать молчала, давая возможность распространяться самым невероятным слухам. На Николая Александровича почему-то наибольшее впечатление произвело то, что в кармане убитого (опять-таки по слухам, впоследствии подтвердившимся) были найдены часы.

– Даже часы не взяли! – расхаживая по столовой, восклицал Николай Александрович.

– Стало быть, если бы они убили студента да еще взяли бы часы, так это было бы лучше?

– Гораздо лучше, – уверял меня Николай Александрович. – Гораздо! Тогда, по крайней мере, понятно. Человек слаб. Может не удержаться. А коли ничего не взяли, так в этом-то и есть самое ужасное. Как вы не можете понять, вы же следователь. Нет уж, Алексей Викторович, не примите на свой счет, но молодежь нынче пошла ужасная. Я понимаю, старики всегда жаловались на молодежь, но я к их числу не принадлежу. Я к молодежи всегда относился со всем сочувствием, но когда происходит такое, тут уж извините-с. Да-с, – повторил он почему-то весьма ядовито, вкладывая в это «с» на конце слова весь яд. – Извините-с!

Напрасно я пытался его убедить, что молодежь здесь совершенно ни при чем, что среди молодежи есть достаточное количество благонамеренных и даже сыщиков и доносчиков, так же как, впрочем, и среди лиц более старших поколений, но ни по нигилистам, ни по сыщикам никак нельзя судить о всей молодежи или о всех стариках. Хотя старики, конечно, даже по строению своих клеток, уменьшенной подвижности организма и устойчивости привычек, конечно, в целом более консервативны, чем молодежь.

– Старшие поколения, я не говорю о вашем поколении, но о ваших отцах, тоже были не очень спокойного нрава и выходили на Сенатскую площадь не с самыми миролюбивыми намерениями.

– Да что вы равняете! – возмутился Николай Александрович. – Декабристы были чистейшие люди. Будь я взрослым в то время, я и сам был бы декабристом.

– Не сомневаюсь, – сказал я. – Хотя декабристом при желании можно быть во всякое время.

– Ну уж вы и загнули, батенька мой! – покачал головой Николай Александрович. – Тогда были совсем другие условия, рабство. А сейчас...

– Да я вам не про сейчас, а про ваше время. В ваше время тоже было рабство в той же самой форме, что и при декабристах, однако что-то не слышно было никаких протестов. Нико-

лая I, жандарма, почитали чуть ли не за благодетеля. Повесил только пятерых декабристов, а мог ведь повесить и всех. А то, что он всех остальных медленно гноил в рудниках, это лучше, что ли?

– Я и не спорю, Алексей Викторович, – примирительно сказал старик. – Много было недостатков, но за всем этим надо видеть и главное, а вот вы за деревьями леса не видите. В конце концов, все сразу не делается. Власть поняла, что рабство есть, по существу, пережиток, и ликвидировала его. Так что теперь-то против чего восставать?

– Да честному человеку, который живет в наше время не с закрытыми глазами, всегда есть против чего восставать.

После обеда я сообщил Николаю Александровичу, что еду на бал в купеческий клуб и возьму с собой его дочь, если, конечно, у него нет против этого возражений.

– Напротив, – растрогался старик. – Буду вам весьма обязан. А то я все по делам да по делам, а ей скучно.

Старик-то против не был, но у меня имелись сомнения. Можно говорить сколько угодно о безразличном отношении к нашему так называемому обществу, но совершенно пренебрегать его мнением осмеливаются немногие. И признаюсь, меня вполне заботила мысль о том, как будет воспринято мое появление на балу с Верой.

«Но ведь в этом нет ничего особенного. Вера – моя гостья, почему же мне не проводить свою гостью на бал, тем более что это первый бал в ее жизни?»

Так я себя уговаривал, но, конечно же, понимал, что стоит нам появиться вдвоем, как все непременно обратят на это внимание. Все наши сплетницы и сплетники тут же обсудят эту новость между собой. Никто, возможно, не скажет прямо, что вот, мол, приехал молодой Филиппов, который решил переменить невесту или, по крайней мере, поволочиться за приезжей красоткой, все будут выражаться обиняками, как бы между прочим, как бы и не видя в этом ничего особенного, но воспримут это событие именно как демонстрацию, и многие этим обстоятельством будут втайне довольны.



## Глава 4

Когда мы прибыли, съезд гостей был в самом разгаре. Не успевал отбыть один экипаж, как его место занималось другим, только что подкатившим. Как раз перед нами выскочил из санок бывший мой однокашник Носов. Я окликнул его, но он уже нырнул в двери. Я спрыгнул на снег и подал руку Вере.

У крыльца толпились любопытные, привлеченные предбальной суматохой, и во все глаза разглядывали важных господ (которые от этого становились еще более важными), проходящих в ярко освещенный вестибюль. Швейцар, принимавший наши шубы, был, как всегда, приветлив. Увидев нас с Верой, он никак не выразил удивления, но я совершенно точно знал, что про себя он все же отметил: вот приехал Филиппов с новой барышней. На мое счастье, Носов крутился еще возле гардероба. Он стоял перед зеркалом, прилизывая свои редкие волосы, равномерно распределяя их по темени. Он мне очень кстати попался под руку. Мы можем войти в залу вдвоем, так что никто не поймет, с кем из нас явилась Вера: со мной или с Носовым. Я подозвал его, и он охотно подошел своей несколько развинченной походкой баловня судьбы и ловеласа.

– Вера Николаевна, – сказал я несколько преувеличенно торжественно, – позвольте представить вам моего бывшего однокашника, а ныне известного в нашем губернском масштабе литератора.

– Очень рад, – сказал Носов, наклоняясь к ее ручке так, чтобы не рассыпались волосы. – Какое удивительное создание! – Он смотрел на Веру с нескрываемым восхищением.

– Ты еще должен сказать: откуда вы такая?

Носов засмеялся:

– Старина, ты слишком хорошо меня знаешь. А в самом деле, откуда вы такая?

Вера смущенно улыбнулась.

– Вера Николаевна, – поспешил я на помощь, – моя гостя. Она приехала из Тетюшского уезда и гостит у меня вместе со своим отцом Николаем Александровичем Фигнером. Ты, конечно, слышал.

– Ну еще бы! – воскликнул Носов. – Сын известного партизана?

– Нет, – смущенно сказала Вера. – Мы просто однофамильцы. Александр Самойлович не родственник нам. Кроме того, он умер за четыре года до рождения папы.

– Очень жаль, – почти серьезно сказал Носов. – А я, признаться, был абсолютно уверен. В ваших глазах есть что-то, я бы сказал, героическое. Ну что, пойдемте в залу?

Вера вопросительно посмотрела на меня.

– Пожалуй, пойдем, – сказал я.

Разумеется, на нее обратили внимание. Дамы и мужчины, стоявшие группками и сидевшие в креслах, отвечали на мои поклоны и задерживали взгляды на Вере. Появление на балу новой, да к тому же еще и весьма привлекательной девушки в любом случае не осталось бы незамеченным, но я ясно сознавал: все замечают, что она идет со мной, а не с Носовым, хотя я намеренно и старался отставать на полшага. Носов же, в отличие от меня, чувствовал себя

в своей тарелке. Нарочито громко, чтобы слышала Вера, спросил он, читал ли я в одном столичном журнале его очерк о земских больницах.

– Нет, – сказал я, – пока не читал.

– Напрасно, – сказал Носов отечески, как бы даже сочувствуя мне. – Прочти обязательно, получишь огромное удовольствие. Цензура, конечно, как всегда, выбросила самое лучшее, но кое-что все же осталось. Кстати, – теперь он понизил голос, – ты не мог бы одолжить мне десять рублей на несколько дней? Понимаешь, вчера у Скарятинных в преферанс играли, ну и, как обычно, продулся.

Скарятин – наш губернатор. Сказал все это Носов для того, чтобы, во-первых, получить желаемое, во-вторых, чтобы заодно подчеркнуть свою близкую связь с губернаторским домом. Я знал, что одолжить ему деньги – все равно что выбросить, и в другое время не дал бы, но сейчас мне нужен был его союз, я полез в карман и, на ошупь вытащив из бумажника империял, незаметно сунул его Носову.

Я уже сказал, что мы с Носовым были однокашники. Но он университета не закончил. Сейчас, задним числом, он любит говорить об этом многозначительно и туманно, намекая, что исключение его находится в прямой связи с политикой и событиями, имевшими для России самое серьезное значение. Тогда же дело обстояло несколько иначе. Его действительно выгнали на втором году обучения, потому что многочисленные выходки его переполнили чашу терпения университетских преподавателей. Последней каплей была следующая история. У нас был один профессор, большой любитель фольклора. Он преподавал общее право, но любимым его коньком было толкование русских пословиц и поговорок, которых он почитал себя замечательным знатоком. Однажды во время лекции этого профессора Носов послал ему записку с вопросом, что означает поговорка «Закон лежит, вода бежит». Профессор был очень доволен, тем более что поговорка, по его мнению, соответствовала теме лекции. Он стал объяснять, что поговорка отражает известную косность наших законов, которые не поспевают за изменениями быстротекущей жизни.

– Вот и получается, – сказал профессор, – что жизнь как река, она течет, меняется, становится другой, а старый закон, как камень, лежит на ее пути.

Как только он это сказал, на скамейке, где сидел Носов, и вокруг него раздался смех, после чего Носов поднялся и сказал:

– Ваша отгадка, господин профессор, неверна. Закон лежит, а вода бежит – это прокурору клизму ставят.

Тут уж и вовсе раздался дружный смех всей аудитории. Профессор побагровел, затопал ногами (с ним чуть припадок не сделался) и закричал:

– Вон! Чтобы больше вашей ноги здесь не было!

– Как вам угодно, господин профессор, – сказал Носов и, вставши на руки, на руках же вышел из залы.

После этого он и был исключен и теперь пробовал себя на литературном поприще, хотя, по-моему, главной его целью было как можно выгоднее жениться.

...Большая зала была ярко освещена газовыми рожками. Дамы блистали нарядами, драгоценностями и ослепительными улыбками, успевая при этом за одну секунду смерить неодобрительным взглядом каждую вновь прибывшую гостью, подозревая, очевидно, в ней вкус выше

собственного. Все стояли или сидели, разбившись на группки, переговариваясь между собой, и разговоры эти сливались в один ровный гул.

Лизу я увидел сразу. Она и Авдотья Семеновна сидели в креслах недалеко от дверей. Авдотья Семеновна старательно ела мороженое и не менее старательно разглядывала туалеты находившихся рядом с нею дам. Лиза рассеянно слушала незнакомого мне гвардейского офицера, который рассказывал, наверное, что-то очень занимательное, потому что размахивал руками, изображая нечто похожее на сабельный бой. По лицу Лизы я видел, что рассказ офицера ей совершенно неинтересен, издали было заметно, что она думает о чем-то другом. Вот она улыбнулась офицеру, подняла голову, и мы встретились взглядами. Хотя я и считал искренне, что в моем появлении с Верой нет ничего предосудительного, я все же смутился и глазами попытался показать Лизе, что это именно ничего и не значит. На мое счастье, Носов был еще здесь. Я попросил прощения у Веры и отвел Носова в сторону.

– Послушай, старина, – сказал я ему. – Будь друг, займи пока мою гостью, мне надо отлучиться.

Он сразу все понял.

– Давно пора отлучиться, – сказал он. – Лиза – девушка строгая, твое отсутствие может дорого тебе обойтись.

– Значит, ты с ней побудешь и не оставишь ее? – спросил я о Вере.

– О чем речь, – сказал он. – Почту за счастье.

Мы вернулись к Вере, я потоптался еще с полминуты, а затем, извинившись и сказав, что поручаю заботу о ней своему другу и скоро вернусь, отошел.

Когда я подошел к Лизе, перед ней все еще стоял гвардейский офицер.

– ...И вот однажды, – продолжал он какой-то свой рассказ, – играли мы в карты у командира, а командир, надо вам сказать, был старый холостяк...

– Простите, – перебила Лиза, – позвольте представить вам моего друга...

Мы раскланялись, он пробормотал свое имя, которое я не расслышал, я пробормотал так же невнятно свое.

– Добрый вечер, – сказал я.

– Добрый вечер, – сказала она со значением.

– Good evening, my dear! <sup>2</sup> – строго сказала Авдотья Семеновна и пытливо посмотрела на меня сквозь очки. – Куда ж это ты, мой друг, запропал?

– В каком смысле? – спросил я.

– Давно тебя у нас не видела.

– Служба, – сказал я.

– Уж так заслужился, что и забежать не можешь, – проворчала старуха.

Офицер, видя, что между нами идет какой-то свой разговор, извинился и отошел.

– Эта провинциальная красавица и есть ваша гостья? – помолчав, спросила Лиза, придавая оттенок презрения не только слову «провинциальная», но даже и слову «красавица».

---

<sup>2</sup> Добрый вечер, дорогой (англ.).

– Да, – сказал я подчеркнуто беспечно. – Отец ее просил сопроводить свою дочь на бал.

– Она первый раз выезжает в свет?

– Да. А что?

– Вы бы ей сказали, что широкие пояса вышли из моды еще в прошлом году, – сказала Лиза. – Впрочем, – добавила она, уже не скрывая своей неприязни, – женщины со вкусом перестали их носить еще в позапрошлом.

– Прошу прощения, – сказал я. – Но мы не настолько близки, чтоб я мог делать ей замечания подобного рода.

– А я думала, что если вы вдвоем являетесь на бал...

– Лиза, – перебил я, оглядываясь на ее матушку, – не устраивайте мне, пожалуйста, сцен, это вам не идет. У вас делается злое лицо и злые глаза. И, простите меня, вон, кажется, идет Баулин, мне надобно с ним переговорить по делу.

Костя Баулин был мой товарищ. Он работал доктором в городской больнице, и иногда, как сведущего специалиста, я привлекал его к судебной экспертизе.

На днях я послал ему медицинский акт вскрытия тела извозчика Правоторова и просил дать свое заключение. Мне хотелось обсудить с Костей это дело, поэтому, оставив Лизу с ее матушкой, я стал пробираться к нему. Проталкиваясь сквозь толпу, раскланиваясь направо и налево со своими знакомыми, я потерял своего друга из виду и нашел его уже только в бильярдной, где он, одинокий, стоял у стены и следил за игрой того самого гвардейского офицера, с которым меня знакомила Лиза, и губернского секретаря Филимонова. Сам Костя в бильярд никогда не играл, впрочем и в другие игры тоже. Вообще многие находили его странным человеком, потому что он никогда не волочился за женщинами (хотя возможности у него, известного в городе доктора, в этом смысле были неограниченные), а любил только свою тихую жену Нину, от которой имел четверых детей.

В юности многие считали его безобразным, похожим на обезьяну, но мне он всегда казался красивым особой красотой умного и доброго человека.

Увидев меня, Костя обрадовался и первым заговорил о деле, меня волновавшем.

– Ты знаешь, – сказал он, и его умное обезьянье лицо с завернутыми вперед ушами напряглось, – я прочел этот акт, он составлен так безграмотно медицински, что, кроме безграмотности, в нем ничего не видно. Понимаешь, тот, кто его составлял, пишет, что смерть, вероятно, наступила в результате сердечной недостаточности, но это еще ничего не значит, потому что смерть почти во всех случаях наступает от сердечной недостаточности. Будь у человека грипп, воспаление легких, отравление или перепой, конечной причиной смерти всегда является сердечная недостаточность.

– Ну а как ты думаешь, эксгумация трупа может что-нибудь дать?

Он подумал и покачал головой:

– Вряд ли. Ведь прошло много времени. Этот самый Анощенко бил его кулаком?

– Кулаком.

– Дело в том, что труп, как ты понимаешь, давно разложился. Если там и были какие-то внутренние кровоизлияния, теперь их установить невозможно.

– Значит, ты считаешь, что эксгумировать труп нет смысла?

– Я этого не сказал. Наоборот, я считаю, что эксгумацию надо провести в любом случае, иногда даже кости говорят больше, чем от них можно ожидать.

– Что ты имеешь в виду?

– Надо посмотреть, – уклончиво сказал он.

Пока я говорил с Костей, бал начался. В большой зале оркестр грянул вальс.

– Ладно, Костя, – сказал я, – мы с тобой еще поговорим. Я пойду.

– Желаю успеха.

В зале уже танцевали, и мне пришлось пробираться между танцующими. Навстречу попался мне Носов, танцевавший с Машей Ситтаки, дочерью известного нашего табачного фабриканта.

– Где Вера? – спросил я его.

Увлеченный разговором со своей партнершей, он только махнул рукой.

– Там.

– Нет, ты скажи, – схватил я его за рукав. – Пригласил ее хоть кто-нибудь?

– Конечно, – сказал он.

Лиза с матерью сидела в углу, и, хотя они разговаривали, я видел, что Лиза бросает беспокойные взгляды по сторонам. Танцующие то скрывали ее от меня, то вновь открывали, я проталкивался вперед, раскланиваясь, извиняясь перед теми, кого толкнул, и пытался встретиться взглядом с Лизой, но она почему-то каждый раз искала меня в другой стороне. Наконец мы все-таки встретились глазами, я помахал ей рукой, давая понять, что иду, спешу и сейчас доберусь до нее, если сумею. Она улыбнулась, показала мне глазами, что я могу и не спешить, и опять занялась разговором со своей mother, но теперь уже было видно, что она больше не беспокоится и ее не интересует, кто что думает про то, почему она не танцует. Сейчас я подойду, и все сразу увидят, что к чему. И я шел к ней. Но когда я был уже совсем близко (оставалось не больше двадцати шагов), я увидел Веру. Она стояла совсем одна, никому не знакомая, никем не приглашенная. На лице ее было выражение полного отчаяния. Большие бархатные глаза были полны слез. Казалось, еще секунда, и она разрыдается и убежит. Она повернула голову, и взгляды наши встретились. Ее глаза умоляли меня; в шумной, переполненной зале я услышал ее мольбу, этот крик, как в безмолвной пустыне: «Я погибаю! Спасите меня!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.